

Пустил я перо бороздить бумагу не для того, чтобы пенять нынешним. А чтобы сказать доброе слово давешним, ушедшим в разные времена на Божью нивку. Сказать благодарное слово их крепкой родовой памяти. Той святой памяти, без которой черство живет-ся на белом свете человеку. Без которой имя ему нелестное — Иван не помнящий родства.

В деревне моего детства зазорно было не знать наперечет прародителей своих до седьмого колена, а то и глубже. Да не только перечесть, а так сказать о каждом, будто намедни с ними ручкался, словом перекидывался. Иные, кто грамоте были горазды, предков своих в заветные тетрадки заносили. Поколенной росписью они назывались.

В семье нашей многодетной я сызмалу заслушивался взрослых, когда они вечерами в бессчетный раз то об одном предке рассказывали, то о другом. О седой старине говорили, беды-несчастья вспоминали, которых не огребешься, радости-улады, коих не густо. Дивные были повествования. Их бы записывать да в книжки пускать, но о том никто и думать не думал. А языком-то каким глаголят! Глубинной Русью язык этот напитан. Дать бы послушать нынешнему ученому лингвисту — забудет рот затворить от восторга.

Отец мой Митрофан Семенович человеком был образованным, начитанным. Его манили такие глубины веков, которые мне, мальцу сопотому, не дано было постичь.

Шли мы с ним по какой-то надобности проселком меж колхозных полей. Слева спелые хлеба легкими волнами зыблются, справа подсолнухи от жары пригорюнились, головы свесили, а в безоблачном небе невидимые жаворонки стеклянными переливами заходятся.

— Вот, Петька, — задумчиво говорил отец, — на этой земле, которую мы с тобой топчем, люди жили как бы не миллион лет назад.

— Ух ты! — удивился я. — А у этих людей тоже колхозы были?

— Балда ты, Петька, хоть и в школе учишься. Какие тебе колхозы миллион лет назад? Человек тогда дикий был. Потому и свободный... от колхозов.

Я силился умом смерить, сколько это — миллион лет, и не мог. Это ж такая прорва времени немереная!

— А две тысячи лет назад скифы тут жили, — продолжал отец. — Могучее скифское царство себе устроили. Только их отсюда сарматы поперли. Вояки были эти сарматы, каких поискать, даже Риму грозились. Да и скифы, по чести сказать, не лыком шиты.

«Спать пора, спать пора», — перепелка голос подала из ложбинки меж хлебов.

— Поцарствовали сарматы лет этак пятьсот, потом пришли другие вояки — гунны — и турнули отсюда сарматов.

— А кто этих гуннов турнул?

— Да вроде никто, сами разбежались. Как вождя не стало, так они врассыпную.

«Спать пора, спать пора...»

Ясно: перепелка опасность почуяла, свой выводок скликает.

— А наши когда стали тут жить?

— Наши — это, значит, славяне. Ты, Петька, сначала славянин, а потом уже русский. Это знать надо... Вот после гуннов славяне и стали тут жить.

— Пап, а нас никто не турнет? Мы тут навсегда, правда?

Отец усмехнулся:

— Навсегда, брат, ничего на свете не бывает. Наползет, положим, ледник стометровой толщины и все подчистую слижет.

— Скажешь, и нас слижет?

— Нас не слижет, мы впереди ледника драпать будем.

Такая стояла теплынь, так жарко заливались жаворонки, да перепелка ладно посвистывала, что никак не хотелось верить в ледник аховой толщины.

— Нет, пап, ледника больше не будет, — сказал я как отрезал.

Отец поворошил ладонью мои вихры:

— Молодец, Петька! На кой он нам сдался, ледник... Но тут, брат, заковырка есть. Что будет — это для всех загадка, даже для ученых людей. А что было — это история. Бог с ним, с ледником и сарматами всякими вместе со скифами. Ты вот что заруби себе: кто историю не знает и знать не желает, тот все равно что косоглазым живет. Хочешь жить косоглазым?

— Не-е.

— То-то. Потому живи да ушами не хлопай.

Я вроде и не хлопал. Благо ребячья память цепкая, как репях. На лету схватит и во всю жизнь не отпустит. До преклонных лет, ровно живые, будут вставать перед глазами лики людей как бы не с петровской старины. С тех достопамятных времен, когда на реке Воронеж поднимались тугие паруса первых фрегатов Русского флота. В них, в эти гордые кораблики, к слову придиись, и деревня наша Нижняя Ведуга, как и прочие в округе, вложила немалую толику труда подневольного. Указом Петра I от 21 марта 1701 года деревня была приписана к Адмиралтейскому приказу. Крестьянину, положим, сеять надо, а уланы его на верфь гонят. Оно, конечно, флот — это и мощь, и крепь российская. Так ведь и без хлебушка крестьянину тоже никак...

А если глубже в веках копнуть, то зело беспокойно было в наших краях. С Золотой Ордой вроде управились, но южные кочевники сильно донимали русичей — селения жгли да грабили, людей в полон уводили. Пришлось по южному порубежью крепости ставить. Теперь это города — Воронеж, Белгород, Оскол, Острогжск и другие. Между крепостями на многие сотни верст протянулась засечная черта. Это высокие земляные валы, которые поднимали в безлесье. В лесах же древесной завалью

щетинились засеки. В одной своей книге я помянул одну русинскую крепость.

«Город пошел от порубежной казачьей сторожи. Она заступала разбойную дорогу крымским да ногайским татарам. Когда жадные до русской кровушки супостаты великими кочевыми ордами валом повалили через уброды и перелазы, сторожа на Омелянке стала больно хлипкой. Взялись обносить ее дубовой стеной в полторы тысячи сажень. Народ подобрался вольный да бывалый — стрельцы, пушкари, лучники, а среди них дети боярские. Пришли они из трех великих русских городов — Москвы, Пскова и Новгорода. Чуть позже прибились донские казаки, тоже лихой народец. Окапывались на речном обрыве вкоренчиво, на века. Столбы из могучих дубов ставили двумя рядами, торчмя да вприжим. Вкапывали их в землю на три сажени с третью. Над землей стена высилась на шесть сажень без малости и была крыта дубовыми ж бревнами с напуском. С тыльных сторон крепость опоясали глыбким рвом с водой. Споро, безотдышно строили этот девятибашенный щит на омелянской круче. Главная башня грозным перстом поднялась на полтора сорока сажень, татарские супротни, что на Святорусье скреблись, видны были с нее на тридцать верст с лихвой. Лютые были сечи под стенами дубовыми и на плесах омелянских. Конно, людно и оружно поднимались на татарву все, от мала до велика. Ключом была алая кровь из груди русской и из груди татарской. Одним ручьем текла. Одним стоном земля стонала...»

Между градами-крепостями ставили промежуточные сторожи. Поначалу это были вышки на холмах. Стоило вдали замаячить кочевникам, на вышке зажигали дымный костер. Тут же по цепочке дымы поднимались к небу на других вышках, и крепость уже знала: супостаты скребутся, берись за оружие. На месте одной из таких сторож и появилась деревня Нижняя Ведуга. Слово это одно из древнейших в русском языке. Ведуга она оттого, что ведала, когда пришел час супротням отпор давать.

За века много воды утекло. Стерлась память о том, откуда пришли мои предки — из Москвы ли, из Пскова или Великого Новгорода. Известно только, что были они ратными людьми.

В память мою особенно вкоренчиво вселился дед Ермил Чернышов, живший в запрошлом веке. Приходится он мне аж прапрапрадедом по отцовой ветви.

Могутный был Ермил Леонович. Борода что ворота, брови застрехами, в глазах искра негасимая и русые вихры из кольца в кольцо вьются. Ремесло себе взял редкое, родовое — крыльщиком хлеб свой добывал. Ермил и сына своего Ивана по той же стежке-дорожке пустил, сам ремеслу обучал.

Довелось мне как-то в разговоре с образованными людьми помянуть это слово — крыльщик. Мне с вежливым поучительством заметили: такого-де слова нет. Вот те раз! Как же нет, коль мой прапрапра... как раз и был натуральным крыльщиком. Раскрыли образованные люди

Ожегова, Даля, третий да пятый словарь. Не удивляйтесь, говорят, нет такого слова. А чего, отвечаю, удивляться-ся? У нас это как водится: заднее место, положим, у всех есть, а слова к нему, прошу пардону, нет.

Русский язык — язык народный. Вот в народе-то и называли крыльщиками тех, кто крыл соломой крестьянские избы. Что и говорить, посамовольничал народец со своим сермяжным просторечием, которое ни в один словарь не впишешь.

Крыльщик, доложу вам, почетное ремесло на Руси было. Ведь без доброй крыши — что без разумной головы. К тому ж дед всем мастерам мастером слыл. Во всей просторной Воронежской губернии Ермила Чернышова знали, от заказчиков отбою не было. Потому как его крыши полвека верой-правдой служили, не текли, избы берегли, студенными зимами печное тепло держали.

Уговор с заказчиком у Ермила был один:

— Мне, хозяин, не перечь, как скажу, так и быть должно.

Солому для крыши Ермил не всякую брал, на иную, цепами измочаленную, и не глянет. Подавай ему долгую да цельную, а такую не вдруг същешь. Глину крыльщик выбирает, чуть не на вкус ее пробует. Бывало, не одну версту круг деревни вымеряет, все глинистые овражки да косогоры излазит. Жерди прижимные и прочее надобное спрашивает с заказчика самолучшее. Иной мужик, набегавшись, уж и пожалеет, что с таким привередливым крыльщиком связался. Бывало, не вытерпит:

— Ну, Ермил Леоныч, знать бы мне допрежь...

— Крой крыльщика, крой, — усмехается тот в бороде. — Крепче память по мне будет.

Доставалось и помощнику, которого Ермил брал из местной молодежи.

— Дед, да не все ль тебе одно, доской я глину приглажу али ладонью?

— От твоей, паря, доски жди тоски! — Мастер строжится. — А ладонь, она от души, ею и гладь. Ишь, пальцы у него торчат, работать не дают.

Под конец на него уж косоуриться начинают. А он, привереда, такую крышу сработает, так ее обиходит, стреху как по струнке подстрижет, что стоит изба ровно пасхальный кулич. Вся деревня на нее дивуется. Мужик потом не раз кому-нибудь из пришлых кивнет на свою крышу: Ермила Леоныча де работа, не абы как, я, мол, кому зря и не доверил бы.

А не одним ремеслом славен был дед Ермил. При всей строгости в работе носил он в себе, прямо сказать, детскую душу. Этот бородатый увалень по-ребячьи, до святой слезы любил русские сказки. В деревнях, где подражался, днем он соломенную крышу ладит, а станет смеркаться, народ к нему, к избе этой потянется. Ребяшня, та наперед всех прискачет. В округе все знают: дед Ермил по давнишнему своему обыкновению сказки будет сказывать. А сказывает он их не по-писаному. Уж так краснó



да мудренó бает — заслушаешься. Будто и не крыльщик Ермил это, а совсем другой человек — с веселой лукавничкой, с голосом, каким он и за серого волка скажет, и за лису Патрикеевну, а то Мишкой косолапым так рыкнет, что иной малец с ревом под мамкин подол нырнет.

Оглядит дед Ермил детвору, глазами ее поласкает:

— Ну, сопатые-конопатые, носы утирайте, уши наводстрайте. Да чур в носопырках не ковыряться, недолго и без пальца остаться. Знал я одного: до седых волос дожил, так с пальцем в ноздре и ходил.

Смехи да потехи!

— Ох, Ермил Леонов, — которая из баб вставит, — уж ты скажешь, так скажешь!

— А вот и скажу. Как было, так и доложу.

Тут не только смеху хватает, случаются и споры. Он ведь, Ермил-то Леоныч, из каждой сказки самый сок ума-разума вытянуть норовит. Сказка вроде проста, что пареная репа, а поди ж ты, добудет то, о чем призадуматься.

— ...Берет, сталбыть, дед золотое яичко да хрясь о дубовую столешницу! Ан целехонько яичко. Хрясь вдругорядь! Не тут-то было. Баба: ну-к, дай сюды, косорукий. По столу яйцом хвать да хвать! Хрясь да хрясь! Не подается золотое, и все тут. Сидят старые, на яйцо глазами хлопают, как быть, ума не приложат. Глядь, по столешнице мышка-норушка бежит, попискивает. Хвостиком круть-верть, яичко зацепила, оно покатилося, о пол треснулося и растеклося. Дед охает, мышку на чем свет кроет — урон-то какой! Баба плачет-надрывается, глядит, чем бы мышку-проказницу прибить. А Курочка Ряба им: ко-ко, не голосите уж вы, старые-неразумные, наутро снесу вам не золотое яичко, а простое.

— Дедушка Ермил, на кой они яичко-то золотое разбивали?

— Не то сам не смекнул? Куда ж они с цельным яйцом золотым попрутся? К примеру, сунулись в лавку, а то и

в сам Воронеж с яйцом подальше — товару накупить да разбогатеть. А там их цоп! Где золотую штуковину взяли, у кого своровали? За виски их да в тиски. В желёзы деда с бабой заковали, березки считать услали, откель не ворочаются. Вот старики и придумали яйцо на кусочки поколоть — так безплошной будет.

— А чего ж оно растеклось, коли золотое?

— Э-э, милый мой, вот тут она и есть, заковырка, — хитро улыбается дед Ермил. — Потому яичко и растеклось, что золото для нашего брата-мужика — туман да мёрзок, горе да беда и больше ничего. Мужика велено свое знать, на богатство рот не разевать. От сотворения такой порядок: у царя цареву, у купца суконное, у мужика посконное. Вот и не суйся в калачный ряд, коли рылом не вышел. Мышка-то хоть и погрызуха, а соображение имеет. Дай, думает, уберегу хозяев от беды, все ж таки свои, почитай, родные. Вот она, разумница, и раскокала яичко.

— А курица, сталбыть, без соображения — золотое им подсунула?

— Ну, что тебе сказать... Маху дала Курочка Ряба, не смекалиста. Но ить хватилась, не стала больше золотом нестись. Поди, мышка ей растолковала, что к чему.

— Ясно, как божий день: нет ходу мужика, коли рылом не вышел — ни туды, ни сюды.

— А куды тебе туды, Филя? Чего ты там забыл? — посмеивается дед. — Ты, Филимон, про то знай, что мужик — главная на свете сила, земля-матушка им стоит! Не то тебе мало? Кто такой царь без посконного мужика? Побирок, вот кто. Христорадник.

— Ермил Леонов, а скажи по чести-совести, ты бы не отказался от золота?

— Я-то? — будто удивляется дед. — Да я, друг ситный Филимон, без золота и не живу. Крышу-то Демьяну вашему чем крою? Золотой соломкой, вот чем! Золото так не играет, как эта солома на солнышке.

— Мудришь, Ермил Леонов, прямо скажу, хитришь, — мужик усмехается, своим подмигивает.

А уж тут дед со строгостью:

— Я, Филя, потому мудрю, чтоб и ты в голову свою хитрости-мудрости маленько забрал. Сам знаешь: тыква без семян — что улей без пчел.

Что важнее для него — крыши крыть или сказки говорить, он, поди, и сам не решил. Однако ж в деревне своей одному мужика занозистому дед сказал, как отрезал:

— Ежели ты скажешь мне, паря, что худо крыши крою — стерплю, рта не раскрою. А скажешь, что сказки мои худые — на рога приму.

Так и ходил дед Ермил по весям. Всюду оставлял справные крыши да разумные сказки. Неспроста и неспуста приклеилось к нему еще одно имечко — Ермил-сказочник. Не любил он сам себя повторять, всякий раз получалась у него с новыми завитками-изворотами да нехитрой мудреностью. Она вроде и знакомая, сказка-то, а все ж таки новая.

Как вычерпает дед Ермил сказочки до доньшка, так в Воронеж засобирается. Пешком ходил в град губернский. Котомку за спину, связанные лапти через плечо повесит — чего попусту стаптывать, — и пошел версты считать, просторы озирать, жаворонков да кузнечиков слушать.

Хозяин книжной лавки знал страсть этого бородатого ходока, загодя откладывал ему новую книжицу сказок.

— Господина Афанасьева сборничек, месяц как в свет выпущен.

Ермил сборничек принимал как драгоценность, в полотенце вышитое заворачивал, в котомку поудобнее укладывал, чтоб не дай Бог уголок не примять.

— Благодарствую, — книжнику с поклоном. — Не больно тонка, на год мне всяко хватит. А там снова приду.

— Вы, думается, по слогам читаете?

— Никак нет, грамоте вовсе не разумею. Добрым людям, особливо ребятишкам, изустно сказки сказываю... Да уж я откроюсь вам. Почитай, смолоду неупокой этот въелся в меня — люблю по-новому да наособинку сказки говорить. Ин раз самому чудно делается.

— Так вам, мил человек... как, простите, звать-величать?

— Ермилом нарекли. Леонычи мы.

— Вам бы, Ермил Леоныч, с Александром Николаичем свидеться, с Афанасьевым. Тем паче, наш он, из Богучар родом. Он ведь по всей державе сказки собирает, великое дело делает.

— Знать, хороший человек, коль до сказок охоч. Я б ему столько наговорил, бумаги не хватит. Где ж искать его?

— А искать его в Белокаменной. Уж давненько в Москву перебрался, чаю, сразу после гимназии.

— Москва — не ближний свет, — чешет в затылке Ермил, — в этакую даль лаптей не напасешься. Да эт бы ништо, а вот недосуг мне. К зиме как бы не десяток крыш сработать надо, обещался людям.

Из Воронежа деду Ермилу прямой путь к пономарю. Гостинец городской ему припас, еще десяток яиц прихватил. Пономарь всякий раз новые сказки ему прочитывает.

— Научиться бы тебе читать, а, Ермил Леоныч? — пономарь ему. — Читал бы себе, и кланяться никому не надо.

— Тебе, Спиридоныч, поклониться не грех, чай, голова не отвалится. Коль уж смолоду грамоту не одолел, в старости вовсе ни к чему учиться.

Хорошо читает пономарь, с чувством. Слушает Ермил, слова не пропустит. Одним вечером не управятся, другой прихватят. Бог памятью деда не обнес, всю книжку от корки до корки запомнит.

Снова поплыли по крестьянским избам Ермиловы сказки.

— ...Не стала Василиса Прекрасная судьбу пытаться, ушла от мачехи-погубительницы. В стольном граде приткнулась сиротинушка. Известно, свет не без добрых людей — взяла ее к себе старушка безродная. А уж морозцы взялись. Тягостно Василисе без дела сидеть, так она всю

зимушку лен тоношенко пряла, из-за стана не вставала — полотно льняное ткала. А рукодельница, скажу вам, каких нынче днем с огнем не сыщешь. К весне повершила и полотно выбелила. Глянула на него старушка, ахнула и словом-то не вдруг нашлась. В ушко игольное, говорит, вденешь полотно это, да все до конца и протянешь.

— Ну ты скажешь, Ермил, — баба иная встрянет. — Чай, не паутинка у ней на бердах была.

— Ты, Маланья, встречаешь, а ладу не знаешь, — дед ей со строгостью. — Сказке правез без надобности. Приди домой да попробуй, авось и у тебя получится.

— Как же, попробует! — сбоку хихикнули. — Кабы у Маланьюшки стан был.

— А эт ништо, — другая баба со смехом подхватит, — неумехе умеху поучать, что прянишки жевать.

— Ну ладно, — дед дальше рассказывает. — Василиса дает старушке полотно: снеси на базар, а что выручишь, себе возьми. Старушка ей: да рази ж на базаре товару этакому купец сыщется? Такое полотно токмо царю впору. Пошла, к царю просится. Пустили ее. Царь глянул на товар, говорит: сроду чуда этакого не видывал. Что просишь за него? А нету ему цены, отвечает старушка, потому подаренья это тебе, царь-батюшка.

— Оно, конечно, со сказочки какой спрос, — не вытерпел востроносый мужичонка. — Уж ты не серчай, Ермил Леонов, а все ж таки дурехи они, Василиса с бабкой. Нешто у царя казна пуста? Им бы заломить цену — это я понимаю.

— Окоротись, Потап, — на мужичонку цыкают, — поперед ума языком рыщешь.

— Дак а я что... я про то, чтоб по чести-совести было.

— Ишь ты! — Маланья тут вскинулась. — Где ж у тебя честь-совесть была, когда ты мне хворого поросенка подсунул?

— Стрянулась! Да не у тебя ль он захворал?

— Будет вам! — по-медвежьи рявкает Ермил. — Дале слушайте... Царь-то — слышь, Потап — старую он таки одарил, с пустыми руками не проводил. А придворным велел праздничных сорочек себе нашить из полотна диковинного, чтоб заморским гостям нос утереть — знай, мол, наших. Придворные во всем царстве беловшеек обégали, все как одна притронуться боятся к чуду этому. Пошли к старушке. Кто, говорят, соткал, тот пушай и сорочки пошьет. Оставили полотно и ушли. Василиса посмеивается: знала я, что быть тому. Черемуха еще не отцвела, уж готова была дюжина сорочек. Понесла их старуха царю. А Василиса принарядилась, русу косу алой лентой переплела, ждет. Глядь, царский слуга бежит, спотыкается, от спеха задыхается, издаля кричит: царь-государь искусницу видеть желает. Ну, сиротинушка пошла да пред царские очи явилась. Как глянул молодой царь на Василису Прекрасную, так и речи лишился. Слова растерял, сорочки диковинные вовсе из головы и вылетели... Сказать забыл: царь-то еще холостой был. А коли так, со

свадебкой особе не тянули. А уж гульнули так гульнули! В царстве том ни прежь, ни опосля такой свадьбы и близко не было. Вот тебе, Маланья, и паутинка на бердах. Она и есть паутинка — судьбина-то. Никто не знает, куда протянется. Ежели, конечно, не оборвется до времени.

К старости годы мелькают, что твои спицы в тележном колесе. Борода Ермилова уж белее холста на морозе выбеленного. Тяжко деду по избяным крышам скакать, а виду не подает, бодрится. Хвори-немочи терзают нещадно, а он отмахивается от них, будто от слепней надоедливых. Должно, раздумывал себе: сяду, мол, сиднем в деревне своей, а сказки-то кто будет сказывать? Уж верно, что не Иван.

Мой прапрадед Иван, сын-то Ермилов, к тому времени тоже знатным крыльщиком стал. Добрая молва о нем не хуже Ермиловой по воронежской земле ходила. Мужик в работе устали не знал. И силушкой, и статью в отца пошел, да еще как бы не помогутней его был. А все ж он другого склада человек. Ермил-то говорлив, так и сыплет шутками да присловьями. Из Ивана ж надо клещами слово тянуть. Молчун. И нравом смирный, что теленок, мухи не обидит.

Но была у него сызмалу чудачина — любил на кулачках силой мериться. В те времена ходить стенка на стенку было делом обыкновенным, сказать даже, законным. Если кто из нынешних считает это дикостью, пускай посмотрит по «ящику» бой без правил. У старинных же кулачников правила были твердые. Скажем, упал боец, его пальцем не тронут, потому как лежачего бить — себя срамотить. Ребят безусых от кулачек берегли, близко не подпускали. Стенка на стенку ходили те, кто в спелую силу вошел.

Как запахло кулачками, как задиры-заводилы стали над сұпротнями насмешничать, так в Иване будто бес просыпался. Не удержать, дай силушку спытать. Это уже не смирный крыльщик Иван, а воитель неукротимый. Кулачник он был редкостный, рассказывают, не один мужик от его кулака сох.

Дед Ермил строжился на сына:

— Сколь раз говорено: на кулачки ходить не велю! Отцовским правом не велю! Не бери грех на душу, Ваня, — не отмолишь. Узнаю, что ходил, сам тебе кулачки устрою!

Не помогало — ходил. Ни одного битвища не пропускал.

На Иване-то и кончилась стежка-дорожка крыльщиков Чернышовых. Семен — Иванов сын, а мой, стало быть, прадед — наотрез отказался по крышам с отцом гулять. Про таких в деревне говорили: у него, мол, лень за пазухой гнездо свила. А парень видный, красавец, не одна девка по нему вздыхала. И уж до того манерный, что деревенские только рты на него разевали: где он ухваток барских набрался, не подкидыв ли городской? Помаялся с ним Иван. Один раз попался лодырь под горячую руку, он ему и отрезал:

— Негоден ты, Сема, для мужицкого дела. Давай-ка, ноги в руки и дуй в город, таких баклушников там за милую душу принимают.

Семен будто и ждал такого изворота, подался в Воронеж. Помытарился он там и прибил к колбасникам. Что

ж, тоже ведь ремесло. Через сколько-то лет наведалься в родовое гнездо. И костюм-то на нем с жилеткой, и при часах-то он! Ахают-дивуются бабы деревенские:

— Тебе черти!.. Вот вам и баклушник. Сема, да ты и впрямь барином сделался!

Семен Иванович большой палец за жилетку заложил и вполоборота:

— Берите выше, сиволапые, колбасных дел мастер я.

Старость с добром не приходит. Как ни бодрился дед Ермил, а подломила его немочь-недужина. Слег одним днем и хворал недолго. А как почуял, что всего ничего

осталось свету белому радоваться, попросил домашних позвать пономаря. Тот скоренько пришел. Также белый, как лунь. Шепчет ему дед — в голос уж не мог говорить:

— Спиридоныч, отбуду нынче. Ублажи Христа ради, проводи душу мою сказочкой.

Какой сказкой пономарь проводил моего прапрапрадеда в царство вечного упокоения, о том не ведаю. Думается, была она светлая, как и тот, кто всю свою жизнь наряжал крестьянские избы в красивые соломенные кровли, а души земляков одаривал мудрыми сказками.